

ЧАПА

Жена сказала: «Напьёшься ещё раз — можешь не возвращаться». Пить он никогда не умел, но старательно учился. Ежедневные тренировки особого результата не приносили, зато уверенно вели к разводу.

— Я виноват, — говорил, — потому и пью. Прости меня, пожалуйста.

Сразу тогда признался: да, изменил. Так вышло. Она, кажется, поняла, и ничего такого не устроила. Любая женщина знает, что семья — хорошо, и надо стараться.

Он тоже вроде бы старался. Но вот опять — не смог, опять какие-то бани, какие-то девушки, опять напился, и чужой запах преследовал до самого дома.

Стоял на лестничной площадке. Помятый и кривой, с порванным воротником, ободранным

подбородком. Кажется, в драке вытащили кошелёк и ключи.

Приблизился к двери. Прислушался. Тишина убедила.

С верхнего этажа, словно с небес на грешную землю, спустился сосед, вытащил из кармана чекушку.

— Бушь?

Кивнул и выпил. Быстро и горячо. Зачем-то смял стаканчик, на что сосед выдал невнятное возмущение. Виновато дунул, вернув пластику форму, и не заметил, как опрокинул ещё, и ещё...

— Не очкуй. Меня сто раз выгоняли. Скажи, что любишь. Жить не можешь. Хочешь, вместе зайдём?

Отказался, и сосед разочарованно ответил:

— Как хошь.

Наступил второй приход.

Пить пьяным — всё равно что изображать любовь, когда разлюбил. Зачем вообще женился. Кутил бы, как раньше, и не думал, что дома — ждут.

Умерла единственная лампочка в подъезде. Пошатнулся, нашёл стенку. Всё нормально — живой.

Он беспричинно пил всё лето. Начальник, смирившийся с его ежедневным похмельем, как-то понимающе объяснил, что причина есть всегда.

— Работа, жена, квартира. Ребёнок маленький. Чего тебе не хватает?

Пообещал, что обязательно завяжет.

Жена уже не верила обещаниям. Сначала обещал, что сделает её самой счастливой, потом

говорил, что всё наладится, теперь — что выберутся, выберется, уберётся.

Поднёс кулак и почти решился постучать. Раз-два-три. Поймёт? Не поймёт! Не победить, не оправдаться.

Обидно заныла рука, в затылке сжалось. Всё прошло — и наступило снова. Круговорот дерьма в природе.

Нырнул в карман, обнаружил немного денег: хватило бы на цветы или конфеты. Но прощение не купишь, и он тихонечко постучался.

Щёлкнул замок. Понял, что можно зайти. Ни крика, ни сцен.

На кухне гудел холодильник, звенела вода. Жена мыла посуду, ссутулившись и согнувшись.

— Давай помогу?

Она выпрямилась, будто хотела сказать что-то; но ничего не сказала.

— Прости меня.

Он потянулся, но понял, что пахнет чужой женщиной, или даже двумя. И самому стало как-то мерзко — будто не он, а его любили прежде и бросили, как только.

— Там это, начальник проставлялся. Ну, понимаешь. Пришлось.

Он был совсем рядом, когда повернулась. На лице с рябой морщинистой кожей разглядел её вечную родинку. А глаза — не узнал. Ни кожу, ни тела, ни себя рядом с ней. Совсем другая и совсем нелюбимая. Обняла его, даже не обняла, а только коснулась плеч и холодно поцеловала в шею.

Хотелось выпить, вернуть молодость, а больше ничего не хотелось.

— На вот, возьмишь завтра на дежурство.

Она протянула курицу, упакованную в фольгу, и Жарков озадаченно кивнул. Нет, всё в порядке. Молодая, своя.

— Ты это, ты правда, пойми.

— Всё нормально, — сказала, и больше говорить не пришлось.

Жарков лёг отдельно. Такие правила: выпил — не смей лежать рядом. Изменил раз — может быть. Второй — катись на все четыре.

Утром собрался, достал форму, поцеловал спящую жену. Не спала, притворялась. Жарков знал, что притворяется, и тоже притворился, вслух произнёс: «Как же сильно я тебя люблю».

Закрыл за собой — и больше не возвращался прежним.

В отделе как всегда суетились. Утренний развод, первая планёрка, второе совещание, везде успеть, ничего не вспомнить, сделать вид, что. Он получил оружие, прошёл инструктаж, изучил ориентировки. Жарков любил дежурить хотя бы потому, что имел тогда законное право не появляться дома. Он даже просил ставить его почаше, иногда сутки через сутки, в те времена, когда спасти семью могло лишь его отсутствие.

Молчи, молчи, и вселенная обязательно ответит.

— Жора, — ворвался начальник, — вся надежда на тебя.

— Чего там?

Он только-только собрался подготовить розыскное дело для предстоящей прокурорской проверки, чай заварил и бутерброд зафигачил, и хотел ещё покурить спуститься, но — чтоб его! — никак нет, отставить, и так далее.

— Убой раскрыли! Чапу задержали, сработали хорошо. Но этот хрен не колется. Жора, давай!

Чапа никогда бы не раскололся за убийство. Мог сознаться в простом грабеже или, на худой конец, в квалифицированном разбое. Но вот умышленное причинение смерти и вся прочая особо тяжкая муть не канала.

— А я при чём?

Начальник махнул: давай заканчивай, нет времени. Так и быть, согласился при условии, что работать будет в кабинете. Неважно, что Чапаев задержан. Всё равно, что в камере. Пусть в наручниках, но если потребуется — снимем наручники.

Два крепких сержанта из конвойной роты затащили Чапу в кабинет. Тот сопротивлялся, шёл через не хочу, но, увидев Жаркова, улыбнулся и без разрешения сел напротив.

— Можете идти, — разрешил Гоша.

Сержанты возразили:

— Не положено.

— Можете идти, — спокойно повторил.

Помялись, переглянулись и вышли. Какое-то время не отходили, стояли и слушали через дверь, а потом забили и уткнулись в телефоны.

Чапа знал Жаркова: пересекались по долгу воровской и полицейской службы.

— А говорил, завяжешь.

— Говорил, — улыбнулся Чапа. — А ты что говорил?

— И я, — согласился Жарков, хотя не помнил, о чём таком рассказывал бедному Чапаеву. — Виноват?

Чапа кивнул, но вслух сказал обратное.

— Нет, начальник. Вяжут наголо, шьют без ниток. Доказуха есть? Нет никакой доказухи.

Жарков разлёгся в кресле. Спина у него ныла, как девочка, но казалось, будто он специально откинулся — вроде: смотри, Чапа, кто ты, а кто я, и не надо тут придумывать.

— Между виной и доказухой, как правило, огромная пропасть.

— Ну да, ну да... — улыбнулся Чапа и попросил сигарету.

Руки в кольцах, пальцы в перстнях. Курил, мусолив фильтр, и пыхтел, как здоровяк, хотя сам досыхал, наверное, последние годы. Щуплый и тонкий — в таких жизнь на исходе, таким лишить других жизни — раз плюнуть.

— Ты понимаешь, там пальчики твои стрельнули.

— Мои пальчики?

Чапа выпятил ладони — на, смотри. Сквозь грубую рябь проглядывали сухие мозоли, жёлтые язвочки, игривая сыпь и россыпь царапин и трещин.

— Пальцы мои, Георгий Фёдорыч, если забыл, следов не оставляют.

Жарков не забыл, но с заключением эксперта спорить не собирался. Папиллярные узоры мо-

гут восстанавливаться. Всё живое живёт, такой закон. Объяснять это Чапе — гиблое дело. Хоть колом коли, не расколется.

— Что делаешь в городе? Живёшь где?

— А что я делаю? Освободился, вернулся. У меня вообще-то семья, жёнка с ребёнком. Скоро папашей стану, — гыгыкнул Чапа, — возвращаюсь к мирной жизни.

— Мирный житель, значит, — усмехнулся Жарков.

— А чего смешного? Это мой город, товарищ майор. А живу где придётся. Я — вор. Где хочу, там обитаю. Я — вор, — повторил Чапа, — а не убийца.

Улыбнулся — и тоже откинулся на спинку неудобного жёсткого стула, и уже занёс деловито ногу. Жарков потребовал сидеть ровно и не рыпаться. Чапа послушно ссутулился и больше не улыбался.

Гоша вслух рассказывал, как местные нашли тело девочки.

— Восемь лет, понимаешь, совсем ещё ребёнок. Платье там, косички, бантики цветные. Ладно бы кто: всякое бывает. Ну, шмара тебе какая-нибудь дорогу перешла. Не дала, например. Или сказала что-нибудь не то. Вы же люди особенные, ранимые. Чуть что, за нож. А тут — ребёнок, понимаешь? ...Ты совсем что ли грохнулся?!

Чапа смотрел в потолок, изображал, что не слушает. Скулы его дёргались, подбородок ходил туда-сюда. Глаза — стеклянные; закатил, и всё тут.

— ...Разодранная, поломанная. Помнишь, игрушки такие были советские? Нет руки, и ладно. Вытащил — вставил, живи дальше. И хрен бы с ним. Но девчонка же, ребёнок!..

Жарков остановился. Дыхание сбилось и преградило дорогу словам. Нечего говорить; ничего не скажешь.

Отдел их работал две ночи, прежде чем удалось найти хоть какие-то зацепки. Районный колдырь по кличке Жук за 0.7 знатной «Белуги» рассказал всё, что знал и не знал. По крайней мере, указал на Чапу: видел, говорит, что тёрся рядом. А про клочок волос, обнаруженный в подъезде, наврал, конечно. Ничего такого не нашли, но вручили сполна: консервы на закуску и две пачки сигарет.

Потом уже криминалисты обнаружили следы рук и проббили по базам. Взяли кровь на анализ, установили групповую принадлежность. И мотив нашёлся: отец девчонки сидел когда-то с Чапой. Что-то не поделили, как-то взаимно оскорбились. Папаша освободился раньше, но Чапаев дал слово, что найдёт. Не нашёл — обидчика вальнули, но обида осталась. Выместил, отомстил, успокоился.

— Ты признался бы, Чапа. Легче будет.

— А мне и так хорошо, — повёл плечом, губу выпятил. — Колоть меня будешь? Или базар бабский разведёшь? Хватит, давай начинай. Надоело тебя слушать.

Мог бы и расколоть, само собой. И так, и эдак. Знал, умел, применял на практике. Любил даже работать не словом, а делом; кулаком за правду.

Но сегодня что-то пошло не так. Жарков терпел до последнего — и до того, как сорваться окончательно, спросил:

— Чего ты хочешь?

Чапа чмокнул языком по губам до зубного свиста.

— Кофе хочу, — признался, — с сахаром. Чтоб четыре ложки, с бугорком.

Жарков исполнил волю задержанного. Любой каприз, только признайся. А выбор небольшой — признание или... или — Гоша задумался. Может, нет смысла возиться с этим барахлом? Подумаешь, Чапа. Что он, таких упырей не видел. Видел и не таких.

— Не до краёв, — попросил, глядя, как Жарков уверенно наклоняет чайник.

Чапаев бессовестно хлюпал, стучал, размешивая, ложкой, громко ставил кружку на стол — так, что донце держалось из последних сил, чтобы не треснуть. И Жарков тоже держался.

— Ты? — спросил опять Гоша, и Чапаев снова кивнул.

— Легче не станет, — сказал тот, — мне скрывать нечего. Воровать — могу, убивать — не знаю. Причинение смерти — или как там у вас написано в ваших кодексах. Написали так написали. При-чи-не, — по слогам произнёс Чапа, а Жарков закончил:

— Ни-е...

Точнее — иначе: «Не е...».

— Не еби мне мозг, Чапа.

— Хорошо, не буду, — ответил тот чуть слышно.